



Историческая культурология

DOI 10.34685/ИИ.2023.91.47.009

Кокшенёва К.А.

Террор и культура: Н.Н.Страхов объясняет современность

Аннотация. Одним из первых, кто доказал связь терроризма с типом культурного сознания, был русский философ века классиков – Николай Николаевич Страхов (1828-1896). Этот тип сознания был глубоко описан им как «нигилистический», проявленный в культуре «отрицательного направления», «эпатажного обличения», лакейского западничества. «Уроки Страхова» позволяют нам понять и те современные культурные процессы, что направлены на эстетический (на первом этапе) и общественный (на втором) хаос и страх.

Ключевые слова: террор, культура, нигилизм, литературный террор, ложная святость, Страхов, письма о нигилизме.

Через пять дней после террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года знаменитый лидер авангардной музыки, немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен (1928-2007) во время пресс-конференции назвал произошедшее «величайшим произведением искусства» и пояснил: «Перед нами умы, достигшие в своих действиях того, о чем мы не можем даже помыслить в музыке, – они репетировали как сумасшедшие десять лет, фанатично готовясь к предстоящему выступлению, и умерли на его пике — только представьте себе, что там творилось. Эти люди были максимально сконцентрированы на своем спектакле, и вот 5000 человек разом, в долю секунды, отправились на тот свет. Мне такое не по силам. В сравнении с ними, мы, композиторы, никто. Иногда художники тоже пытаются выйти за рамки допустимого и разумного – чтобы разбудить нас, чтобы заставить нас увидеть другой мир» [1]. Художественный акционизм, который разглядел композитор в теракте, был многими воспринят как его бесконечно-циничный, но понятный творческий «восторг»: акт жизни много мощнее любого акта искусства. Другие же интерпретировали его слова как глубокую зависть – зависть носителей того типа искусства, которое жадно предъявляет себя в немыслимой прежде новизне протеста и скандала, в «обнулении культуры» и в полном её уничтожении – «взрыве». **Театр теракта** (не случайно

Штокхаузен использует театральные термины), когда пять тысяч человек становятся участниками **реального** «спектакля» и **реально погибают**, – да, такой «театр» и есть «настоящий», «предельный» поступок для современного художника, жаждущего иммерсивного, то есть обеспечивающего эффект полного присутствия, опыта.

Термины «террор-спектакль», «террор-фильм» приняты и у современных культурологов. И речь идет отнюдь не о первом американском фильме ужасов «Террор», появившемся на экране в 1928 году (реж. Рой Дель Рут). Первым террор-фильмом принято считать снятую на пленку знаменитым изобретателем (в том числе и электрического стула) Т. Эдисоном публичной казни слоники Топси (США, 1903 год). Следующим террор-фильмом критики называют знаменитую картину Гриффита «Рождение нации» (1915), в которой «афроамериканцы изображаются неполноценными и к тому же чрезвычайно опасными» [2, с. 43]. Здесь, собственно, и был сформулирован посыл террор-культуры обществу – сигнал о том, что **изображаемая на экране угроза может быть (или является) вполне реальной**. Естественно, «угроза» может стать как преувеличенной, так и преуменьшенной, – смотря какие цели ставит перед собой художник, её пропагандирующий.

В новейшей современной культуре активные позиции занимает хоррор. Если *террор* устрашает, то *хоррор* (лат. *ужас, оцепенение*) передает состояние подверженности акту террора. «...Хоррор, – пишет исследователь, – является существенным компонентом культуры современного общества, которое характеризуется по-разному – как информационное постиндустриальное общество, как проектно-сетевой социум, как общество массового потребления [3, с. 47].

Ближайшая же к нам постмодернистская среда трансформировала террор в акционизм. Акционизм может быть и вполне кровавым, и вполне антигуманным. Его носители, в отличие от террористов рубежа XIX–XX вв., уже совсем лишены какой-либо мировоззренческой платформы «больших идей». Исследователь уверенно заключают, что «современный акционизм, занявший большое место в искусстве, перенимает формы, атрибутику и тактику террора, оголяя бессмысленность его оправдания укладом традиционных национально-религиозных обществ» [4, с. 2].

Впрочем, в этом же сборнике статей участников Международной научной конференции «Террор и культура» (22–24 октября 2014 г., СПбГУ, Факультет свободных искусств и наук) можно как раз и найти рассуждения о связи террора с «традиционными укладами». В частности, в статье журналиста и историка Д.А. Коцюбинского «Страх и память. Державный террор как основа русской политической культуры» делается попытка доказать, что «системообразующая и «паттернообразующая» специфика становления русской политической культуры» определена тем, что «она изначально сформировалась как рабско-самодержавная (холопско-господская), поскольку само возникновение русского народа и московской (ставшей позднее российской)

государственности происходило в условиях монгольского колониального господства и соответствующего политического менеджмента, т. е. при активном участии "колонизаторов" – ханов и элиты Золотой Орды в целом. Именно по этой причине Россия как политическая цивилизация может быть названа "рабской", ибо политическое рабство явилось фундаментом русско-московского национально-государственного становления, в следствии чего навеки утвердился страх подданных ("политических холопов") перед государственным террором и вытекающий из этого страха феномен интроекции общества-жертвы с властью-агрессором – то, что принято еще называть "стокгольмским синдромом"» [5, с. 23]. Именно в российской культуре последних двадцати лет (в популярной литературе, кино и театральных спектаклях, драматургических лабораториях и лекциях) активно разрабатывалась и демонстрировалась западная колониальная концепция «закрытого» «государства-террориста» и «жертвы» (жертвы как «результата» истории насилия; жертвы государственного насилия; жертвы культурного насилия; иных народов как жертвы от совместного проживания с русскими) [Так, в согласии с концепцией «жертвы», как следствия этноцида бурятского народа, поставлен в 2016 году спектакль Сойжин Жамбаловой «Полёт. Бильчирская история» в Государственном бурятском академическом театре драмы имени Х.Н. Намсараева. Повесть В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» кардинально переделана «под свои нужды», под главную идею – экологического этноцида, когда в 1961 году при строительстве Братской ГЭС была утеряна земля бильчирцев. Валентин Распутин писал, конечно, о трагедии русских затопленных земель. Позаимствовав идею, режиссер и автор идеи Саян Жамбалов подчинили её как раз ложной «колониальной концепции», навязанной нам западными «советологами»].

Можно называть десятки акций и произведений современного искусства последних двух десятилетий [6]; можно говорить, что современный художник так или иначе закреплял в культуре «травмированные террором» образы людей и вещей, но все же самое существенное – в другом.

Проблема «террор и культура» – это проблема **культуры сознания**. Именно так поставил вопрос и дал глубокие ответы на него русский философ Николай Николаевич Страхов (1828–1896), отнюдь не из книжек знающий, что такое **террор** – сначала «литературный» (гуманитарный), а потом – практический.

Принято до сих пор считать, что термин «литературный террор» принадлежит В.В. Розанову (1856–1919) [7, с. 62], который отвечал П.Б. Струве и другим в той полемике с левыми журналистами, что возникла в печати после выхода его книги «Когда начальство ушло» (1910 г.). Розанов полагал, что именно «социал-демократия давно установила в нашей литературе террор», а орудие террора – «лишение чести, опозорение, как я выразился, "кислота в лицо"» [8]. Но собственно травля Розанова, которую устроили ему социал-демократы в оппозиционных органах печати 1910–1911 г., как раз и прямо подтверждала точность розановского определения

– «литературный террор» направлен на сознательное искажение реальности (будь то оценка личности писателя, будь то его творчество).

И, тем не менее, исправить эту культурно-историческую неточность нам представляется справедливым. В 1883 году Страхов издает книгу «Заметки о Пушкине и других поэтах», в которой впервые употребляет определение «литературный террор»: «К концу семидесятых годов, в эпоху турецкой войны, **литературный террор** уже совершенно затих...» (выделено мной. – К.К.) [9, с. 128]. О чем же говорит критик и философ?

Оставляя за Пушкиным звание национального поэта, давшим образцы изящнейшей и ясной поэтической формы, утвердившим русское искусство на высочайшем пьедестале и много способствовавшим лично тому, чтобы «никалаевский Петербург стал культурной столицей мира» [10, с. 574] – Страхов клонит к чему-то другому. Он вдруг называет 1856 год переломным. В этот год была проиграна Крымская война. В этот год западная русофобия больше не скрывала своего лица: «Понятны цели, которые “культурный мир” в этой войне преследовал. Осадить варварскую Россию, указать ей на её настоящее место в мире, ну и, если получится, установить международный контроль над этими тёмными территориями и хоть как-то их культивировать: организовать здесь, к примеру, десяток-другой государств среднего восточноевропейского уровня – “не хуже Польши”. Во всяком случае, прижечь этот рассадник средневекового варварства, угнездившегося под боком у свободного мира...» [Там же]. Конечно, Западный мир не говорил «вслух» о том, что хочет уничтожить и разграбить Россию. Вперед были выдвинуты лозунги именно культуры: он нёс России свою «культурную программу», с помощью которой шёл цивилизовать её. Нёс демократию, свободу, «хартию вольностей и Шекспира», забыв, что в России 1854 года «Шекспиром интересовались и занимались ничуть не меньше, чем в самой Англии» [10, с. 755]. Какими бы лозунгами культуры и просвещения не прикрывались тогда европейские цели (я все еще продолжаю мысль Н.И. Калягина), все равно главная «цель всякой войны – убить как можно больше военных, носящих на себе чужую военную форму. Передовому отряду западноевропейского человечества, высадившемуся в 1854 году в Крыму, необходимо было убить, во-первых, защищавших эту территорию русских военных: артиллерийского поручика Толстого, военного лекаря Леонтьева и других военных. Затем нужно было убить русских офицеров, спешащих на помощь Севастополю со своими отрядами, — графа А.К. Толстого, Владимира Жемчужникова, Ивана Аксакова и других» [10, с. 575]. Но этого не случилось. Русская литература **в их лице** тоже выжила и дала фантастически-прекрасные литературные плоды.

А умным свидетелем этой войны и знатоком глубинных её целей был и Николай Николаевич Страхов – свидетелем того, как к началу Крымской войны (1854 г.) **окончательно созрела «мысль Запада о России»**. И с какой особенной нагрузкой и силой звучат сегодня слова Н.И. Калягина о том, что «самая большая глупость, которую мы, русские, в современной и будущей своей культурно-исторической жизни способны совершить, это – забыть хотя бы на миг ту ясную мысль, с которой обрушился на нашу землю в 1854 передовой Запад. Мысль эта: Европа без

жандарма, мир без России. Свободный мир. Мир без «Преступления и наказания», мир без «Войны и мира» [10, 576]. Теперь уже и мы свидетели того, как через «культуру отмены» современный гуманитарный террор осуществляется на коллективном Западе в отношении культуры русской.

В 1856 году, говорит Страхов, возникла в русской литературе «заря обновления» – появились на горизонте **гражданское** направление и **обличительная** литература **отрицательного** направления. «И вообще, – пишет он, – проповедовалась теория, что всякое искусство и писательство, всякая наука и умственная деятельность должны иметь в виду прямую пользу для общества, а не отвлеченный интерес самого искусства и науки» [9, 127]. Критерий пользы (и общественной пользы) убивал поэзию и эстетику. Полемика между «реалистами» и «эстетиками» напоминала самую жестокую войну. Разрушение авторитетов поэтических (во главе с Пушкиным), а также «разрушение эстетики» привело к тому, что «настоящая поэзия, можно сказать, едва влачила своё существование» [9, 127]. Отрицание искусства, заключает Страхов, есть одна из современных тенденций, поскольку именно с искусством связаны идеал, идеализм, жажда вечного, а не временного, против которых и враждует «отрицательное направление».

Не служащие гражданскому направлению подвергались насмешкам и издевательствам, травле со стороны журналистов, не имевших *настоящего вкуса*. В результате – «новые стихотворцы» не смели «заявлять своих дум и чувств, а должны были ограничиваться самыми казенными гражданскими темами или же шуточными стишками» [9, 128]. Всё это вместе – восстание против «чистой эстетики», с одной стороны, и давящее требование «служения гражданскому идеалу» вне поэзии и Пушкина, с другой, позволило Страхову говорить о **литературном терроре**. Будто Пушкин, вобравший в себя всю полноту народной личности, будто поэзия Баратынского, Фета и Случевского не служили Отечеству! Но служение с середины XIX века должно было быть исключительно «принципиальным», «модным», то есть сильно облегчённым, освобождающим от *дум высоких ради пользы*.

Литературный террор, как и террор политический питались из одного источника – **культурного нигилизма**.

Эпоха литературного нигилизма внимательно рассмотрена Страховым в период его (литературного нигилизма) максимальной активности – с 1861 по 1865 год (позже, в 1890 году он соберет свои статьи в книжку «Из истории литературного нигилизма»). «Истинный объем нигилизма», его «внешние размеры», как говорит Страхов в Предисловии к книге, были очень велики [11]. Он прямо называет «нигилистическим» двадцатилетие русской литературы – с 1856 года. Страхов настаивает на массовости этого явления, завершившегося реальным «нигилистическим террором» 1 марта 1881 года – смертью императора Александра II.

Литературные герои Базаров, Кириллов, Верховенский – с одной стороны, и реальные деятели культуры и общества (А.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, Д.И. Писарев, М.А. Бакунин, А.И. Желябов, В.И. Засулич, П.Л. Лавров, С.Л. Перовская, П.Н. Ткачёв, Н.Г. Чернышевский), – с другой, представляли эпоху нигилизма. Современный исследователь уверена, что «нигилизм создали русские писатели – Тургенев его описал (отчасти, видимо, придумал) – и русский нигилизм появился. Рожденный нигилизм поддержал критик Писарев – потому что при его резком складе ума иначе как нигилистом его и не назвать. Нигилизм Писарева – теоретический нигилизм, нигилизм разрушающего слова. Но боевой призыв Писарева не вызвал к жизни реальных нигилистов. Кто еще нигилист? Герцен в полемике с Писаревым придал явлению иллюзию жизнеспособности, поскольку обсуждал его как нечто реально существующее. Писарев утонул в 1868 г., и теоретический период нигилизма закончился. Следующих «говорящих уст» он не нашел. В 1869 г. Нечаев и нечаевцы убили студента Московской сельскохозяйственной академии Ивана Иванова – так начался период практического нигилизма, переход от слова к делу» [12, с. 130].

Русскую литературу обвиняли не раз в том, что она готовила революции и выращивала революционеров. И все же процесс взаимного влияния жизни и литературы был сложнее. «Базаров, – пишет Страхов, – во всяком случае есть лицо созданное, а не только воспроизведенное, предугаданное, а не только разоблаченное. Так это должно было быть по самой задаче, которая возбуждала творчество художника» [9, с. 184]. И Тургенев, и особенно Достоевский, написавшие свои романы «Отцы и дети» и «Бесы», смогли показать процессы утраты русским человеком фундаментальных ценностей. Но разве те же писатели, как, например, Н.Г. Чернышевский, не утратили все тех же фундаментальных опор (различения добра и зла), когда представляют совершенно нормальным, что муж объявляется мёртвым, чтобы жена счастливо соединилась с другим (в романе «Что делать?»)?

Но как «отрицательное направление» стало массовым? Как у него появились эпигоны, которые гораздо больше влияли на повседневную жизнь, чем романисты Тургенев и Достоевский?

Именно **журналистика** и стала тем посредником между «новыми идеями» и «новыми людьми» в *синих очках*, которые охраняли их «свет разума».

Внимание Страхова к предметам, лично ему глубоко чуждым (а нигилизм был именно таким для него), можно объяснить его главным принципом – принципом понимания. Он тратит очень много сил на журнальную полемику, несмотря на то, что высказанные его оппонентами мнения часто «дики» и «бессмысленны». Страхов стремился понять причину их «странной нелогичности», «уродливого хода мыслей». «**Пустота и зыбкость умов**», обнаруженная критиком, и была той почвой, «на которой выросло столько чудовищных мнений и чудовищных действий» [11]. Нигилистические мнения так массово распространялись потому, что **отсутствовала культура мышления русских о самих себе**: «Господствующую силу у нас имеют только два крайние направления, – фанатический радикализм и фанатическое староверство... От этого происходит, что писатель у нас связан по рукам и ногам; что бы он ни сказал, его тянут или в одну, или в

другую сторону и не дают ему остаться самим собой. От этого рост нашей мысли, нашего умственного развития подавлен, и радикалы содействуют этому также усердно, как и старoverы. Писатели, не желающие попасть ни в тот, ни в другой лагерь, <...> предпочитают оставлять в тени самые существенные свои взгляды и, по внешнему виду нашей литературы, можно подумать, что ее почти вовсе не занимают основные вопросы богословия, философии, политики» [Там же]. К «не попадающим» в эти два лагеря относился и сам Страхов (как и Ап. Григорьев, например), которые отстаивали свой, не заёмный, сложный взгляд русских на самих себя.

В статье Страхова «Нечто о петербургской литературе», открывающей его книжку «Из истории литературного нигилизма», как раз и дан «портрет» нигилиста-эпигона: «Представьте – полнейшее отрицание авторитетов; слабое, даже ничтожное развитие эстетического вкуса; некоторое отвращение к стихам, как к чему-то очень приторному; пламенное желание общественной пользы; желание стать во главе, на виднейшем и главнейшем месте в нашем движении вперед; очень малая начитанность; полнейшая уверенность в достоинстве собственной логики и в непогрешимости самобытных, хотя немногих собственных убеждений; неопределенное, но постоянное недовольство всем и всеми; инстинктивное уклонение от общества и пребывание в узких кружках; причисление себя к избранным и весьма немногим; полнейшее незнание действительности; мизантропический взгляд на людей, скорая вера во все дурное; воззрение на жизнь более аскетическое или стоическое, чем современное...» [Там же] Можно говорить уверенно, что всё «мировоззрение» эпигона-нигилиста (журналиста, критика и литератора средней руки) сполна присутствует в этой страховской характеристике последователей «обличительной литературы», полагающих в обличениях свой «гражданский подвиг».

В 1861 году Писареву было 21 год, критику Антоновичу, занявшему в «Современнике» место Добролюбова – 27 лет. Это были **молодые люди**, с азартом открывавшие для себя горизонты критического и материалистического отношения к жизни и творчеству. Конечно, возникли они не на пустом месте. Уже сам Чаадаев написал свое «Философическое письмо» (1836), и даже сам князь Вяземский сочинил стих-эпиграмму «*Вот мчится тройка удалая, // Бакунин, Герцен, Огарев...*» (1866 г.), уверенный, что либерализм его времени был более возвышен, а его личная *свободомысленная пылкость* («либерализмом в значении Карамзина») [13] никак не позволяли стареющему князю видеть себя в учителях у «нового чекана» – «неумытых» нигилистах-шестидесятниках.

Страхов в ту пору (ему было 34 года) ничуть не лукавил, когда говорил о крайней «выразительности» того же Писарева. Конечно же, Страхов не мог принять «новые идеи» названных выше молодых критиков и писателей, полагая методы их критического мышления опасно упрощенными.

Писарев как мантру повторяет своим читателям, что именно его идеи **современны**. Писарев говорит: «*Мы идём вперед*» – Страхов тут же задает вопрос: почему именно то направление, куда

идет Писарев, есть движение вперед, а не в какую-либо иную сторону? *«Мы отвергаем все старое»*, – пишет Писарев. Страхов же требует от него указать какие-либо признаки того, что «старое действительно старо, а новое действительно ново» (10). *«Мы бьем направо и налево»*, – возглашает Писарев, но Страхов требует некоего «удостоверения» того, что такое геройское поведение следствием своим имеет действительное разрушение того, что «бьет г. Писарев». *«Мы жизнь, мы факт»*, – восклицает Писарев и тут же против этого восклицания Страхов ставит свои вопросы: **«Но какая жизнь и какой факт?»** Решить это, исходя из писаревских пышных фраз, никак невозможно. «А что если это дурной факт? Если эта жизнь – нездоровая?» – вновь ставит свои вопросы Страхов [11]. Положительный признак у Писарева был обнаружен критиком только один – «этот признак состоит в некотором *жаре*, в особенной *пламенности*, которую г. Писарев считает прямым проявлением жизни и которую потому прямо приписывает своему лагерю. У нас, говорит он, господствует “*пылкая, кипучая диалектика*”, “*вообще страстность*”, “*искреннее воодушевление*”, даже “*страстный юношеский бред*”» [Там же]. Выделив курсивом слова, характеризующие состояние эмоционального возбуждения и, одновременно, интеллектуальной бедности, Страхов тем самым как бы подчеркивает, что все они, безусловно, свидетели *живого*, но все они предлагают эмоциональные подходы, с которых стоит смотреть на «произведения этого лагеря», но не допускают иных принципов – таких как «последовательность, точность фактов, строгость выводов» [Там же].

Писаревские *слоганы*, говоря современным языком, конечно, усваивались молодой аудиторией легко, массово и весело. *Мы идем вперед, мы отвергаем всё старое, мы бьем направо и налево, мы жизнь, мы факт* – все они выражали отрицательное (или протестное) настроение своего времени. Настроение «любви к чистой свободе»! А Страхов, требующий строгости и доказательности выводов, конечно, не был услышан современниками.

Именно названные Страховым «писаревские принципы» возьмут на вооружение и практические нигилисты – террористы, о которых Страхов будет говорить в своих «Письмах о нигилизме» 1881 года [14]. Либерализация сознания – первая ступень «нигилистической диалектики». Но дальше следуют более жестокие формы нигилизма (его демократизация), показанные Достоевским в лицах Степана Трофимовича (либерала) и Петра Степановича (революционера) Верховенских. То есть либерализм рождает революцию. Достоевский убедительно показал эту нигилистическую логику.

Другое зло, которое питало нигилиста и террориста – это западничество. «Фанатическое поклонение западной духовной жизни» [11] видит Страхов в молодой критике. И западничество их – результат прямого неверия в свою почву, то есть в свою культуру и жизнь. Таким образом, болезнь западничества начинается с непонимания своего, с презрения к своему, и это настолько, в свою очередь, искажает сознание, что вся русская жизнь оказывается *бесчестной*, и к ней остается питать только «*святую ненависть*» (слова П.Вяземского). Можно «быть зверем, а считать себя святым» [16] – резюмирует Страхов в «Письмах о нигилизме». Ложным может быть

всё в условиях нашей земной жизни: «святая свобода», ради которой травили «реакционного поэта» Майкова; «святое негодование» в адрес какого-нибудь (неважно кого именно, лишь бы мундир носил) тайного советника или генерала, которые «едят всё “Вальтассаровы пиры”», когда народ пухнет от голода» [15], и, наконец, выплывает, так сказать, «святость революционера», позволяющая Страхову сделать фундаментальный, на века, вывод, что **«нигилизм есть движение, которое в сущности ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения»** [16].

К сожалению, глубочайшие и умные «уроки Страхова» сегодня никак не усвоены, скорее, напротив, вполне процветает взгляд на террористов как «мучеников идеи». История, например, женщин-террористок Российской империи, в трактовке наших современников служит доказательством **зыбкости критериев** и непонимания сути террористического нигилизма до сих пор. И здесь типична история отношения к женщинам-террористкам.

Так, большинство женщин-террористок происходили из хороших семей. Они не нуждались материально. Они получили лучшее для своего времени образование. Но при этом в достаточно юном возрасте увлеклись революционными идеями. Собственно, всё начиналось с **соблазна сознания** – жажды «новой культуры», культуры не аристократической, а демократической, в недрах которой в 60-х годах XIX столетия был поставлен вопрос о женской эмансипации. Их призывали учиться, но не ради чистого наслаждения знанием, а с целью практической: с помощью образования добиться равноправия с мужчиной. Из равноправия же вытекала уверенность, что “Kinder, Küche und Kirch” (дети, кухня и церковь) превращают женщину только в самку. Зато в деле убийства террористки «работали» наравне с мужчинами, то есть вполне добились «равноправия». Нет сомнения, что женщины-террористки были соблазнены той культурой, о которой говорилось нами выше и с чем так упрямо боролся Страхов; культурой, в которой Пушкина «сбрасывали с корабля современности», а «сапоги» объявлялись выше и нужнее Шекспира. Изменение несправедливого мира, благородное сочувствие «униженным и оскорбленным», роль «народных заступников и заступниц», то есть «стремление к общественной деятельности» и сама по себе роль «страдальцев за правду» часто опирались как на кипучую ненависть к государству и его чиновникам, так и на личную экзальтацию. «Не случайно, – пишет исследователь, – процент самоубийств в этой среде был так высок. Читая тексты, написанные ими – воспоминания, речи в суде или перед казнью, нередко сталкиваешься с преувеличенными, инфантильными суждениями о действительности, о власти, о месте человека в государственной машине» [17]. Пострадавшие же от власти террористки немедленно в общественном мнении становились «революционными богородицами», как Вера Фигнер, Софья Перовская, Екатерина Брешковская или «эсеровскими богородицами» как Мария Спиридонова – ведь они совершали «революционные самопожертвования» [18, с. 309].

Интеллектуальная традиция видеть в террористках **одновременно «святых и грешных»** до сих пор заметна. Так, статья А.В. Воронихина «Богородица с револьвером» и своей верой (жизненные

вершины Веры Фигнер)» [19] носит вполне позитивно-гуманный характер. Автор не останавливается на анализе террористической деятельности В. Фигнер – он только сообщает, что она, входя в исполком «Народной воли», активно участвовала в подготовке трех покушений на императора Александра II. Не дает он никакой оценки и следующим, описываемым им фактов: «На заседании ИК 3 марта 1881 г. В.Н. Фигнер единственная кто настаивал на сохранении подкопа на Малой Садовой улице с тем, чтобы взорвать карету нового царя Александра III. Именно Вера Фигнер руководила подготовкой покушения, в результате которого был убит 18 марта 1882 г. военный прокурор генерал-майор В.С. Стрельников в Одессе» [Там же]. Автор статьи останавливается на «святых» «вершинах» жизни террористки, среди которых полагает её двадцатилетнее сидение в одиночной камере Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, где она продолжала свою «деятельность», о чем свидетельствует рапорт полковника Ф.Н. Каирова: «Арестантка № 11 составляет как бы **культ для всей тюрьмы**, арестанты относятся к ней с величайшим почтением и уважением, она, несомненно, **руководит общественным мнением всей тюрьмы, и ее приказанием все подчиняются почти беспрекословно**; с большой уверенностью можно сказать, что проявляющиеся в тюрьме протесты арестантов в виде общих голодовок, отказывания от гуляний, работ и т.п. делаются по ее камертону» (выделено мной. – К.К.) [20, с. 407]. Кажется, все же *авторитет среди заключенных* не должен был бы являться доказательством «святых вершин» жизни В. Фигнер.

Останавливается А.В. Воронихин и на другой особой ситуации в жизни террористки Фигнер – лечении и обучении крестьян. После получения образования в Цюрихе В. Фигнер вернулась в Россию и устроилась фельдшером в общинное поселение, созданное представителями «Земли и воли» (Петровское земство Саратовской губернии, село Вязмино), где она проработала только год (1878-1879). Собственно, вопрос о том, чему она учила детей, автор даже и не ставит, а только, ссылаясь на разные мнения, продолжает свою тему «святой и грешной», не отдавая, повторю, отчета в том, что быть **одновременно** «святой» и «грешной» (особенно грехом убийства) невозможно по определению. Собственно, сам факт такого восприятия террористки свидетельствовал о том, что общество уже было глубоко больно, так как лишилось ясного разделения – границ святости и греха.

И только, на наш взгляд, Страхов, после теракта 1881 года смог дойти до самого глубинного уровня понимания этой проблемы. Тут его христианская закваска стала, несомненно, верным фундаментом осмысления. Он пишет: «Нигилизм – это не простой грех, не простое злодейство; это и не политическое преступление, не так называемое революционное пламя. Поднимитесь, если можете, еще на одну ступень выше, на самую **крайнюю ступень противления законам души и совести**; нигилизм, это – грех трансцендентальный, это – **грех нечеловеческой гордости**, обуявшей в наши дни умы людей, это – чудовищное **извращение души**, при котором **злодеянье является добродетелью, кровопролитие - благодеянием, разрушение - лучшим залогом жизни**. Человек вообразил, что он полный владыка своей судьбы, что ему нужно **поправить всемирную историю**, что следует **преобразовать душу** человеческую. Он, по

гордости, пренебрегает и отвергает всякие другие цели, кроме этой высшей и самой существенной, и **потому дошел до неслыханного цинизма в своих действиях, до кощунственного посягательства на все, перед чем благоговеют люди.** Это – безумие соблазнительное и глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем страстям человека...» (выделено мной. – К.К.) [16]. Путем гибели полагал философ и критик намерение насильственного преобразования истории и души человеческой нигилистами, попирающими законы исторические и духовные.

Изменение сознание – это изменение ценностей. И искусство (литература) способствовали прежде всего изменению ценностей за пределами профессиональной среды, то есть в обществе. «Освобождение сознания» через рождение в нём «святого гнева», антиправительственных настроений, бедно и нагло понятой свободы, «жажды борьбы» и вечного некрасовского плача о тяжелой крестьянской доле (будто любой труд не «тяжкий», будто никто из крестьян никогда не знал вдохновения и счастливых минут, что отразила русская народная культура). **«Идеализация в сторону безобразия»** – родовая черта нигилизма-терроризма. При этом парадокс состоял в том, что «бесстрашные Щедрин и Минаев за свою жёсткую антиправительственную позицию имели одну только всероссийскую славу и недурные, сопутствующие высшей славе, литературные гонорары» [10, с. 731]; Некрасов с его тезисом «где народ – там и стон», но при этом ставший миллионщиком на промышленном воспевании «стона» [21], – все они своим сытым положением в обществе доказывали, что экономически выгодно в России быть либералом–западником–нигилистом–прогрессистом–литературным террористом. «Стоит сравнить тусклую, загнанную, "где-то в уголку" жизнь Страхова, – с горечью пишет В.В. Розанов, – у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его пришедшему приятелю, – с шумной, широкой, могущественной жизнью Чернышевского и Добролюбова, которые почти “не удостаивали разговором” самого Тургенева; стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнечном переулке, где стоят только извозчицьи дворы и обитают по комнатушкам проститутки, – с жизнью женатого на еврейке-миллионерке Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и "оппозиционная редакция" "Вестника Европы"; стоит сравнить жалкую полужизнь, – жизнь как *несчастье и горе*, – Кон. Леонтьева и Гилярова-Платонова – с жизнью литературного магната Благодетель (Дело) <...> чтобы понять, что нигилисты и отрицатели России давно догадались, где “раки зимуют”, и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью *неимущего – к имущему*. Нигилизм давно *лижет пятки* у богатого (и *властного*, как дальше пишет Розанов. – К.К.) – вот в чем дело; нигилизм есть *прихлебатель у знатного* – вот в чем тоже дело» [15]. И «знатные», в ответ, выражались «весьма и весьма сочувственно о взрывчатых коробочках». И это не могло не потрясать наивных провинциальных молодых нигилистов, вдруг открывающих для себя: «Ах, так вот *где* оппозиция: с орденом Александра Невского и Белого Орла, с тысячами в кармане, с семгой целыми рыбами за столом» [Там же], то есть с наградами от самого Государя!

Страхову не довелось увидеть результаты того прискорбного революционно-демократического и террористического пути, о которых он предупреждал – Октябрьскую революцию 1917 года. Революцию, усугубленную порывом тотальной демократизации культуры, – очередной попыткой «сбросить Пушкина с корабля современности», то есть сбросить всю русскую историческую жизнь. И никто глубже его не показал определяющую связь между террором и культурой сознания.

ПРИМЕЧАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Цит. по: *Дройткур Б.* Нью-Йорк накануне 11 сентября. – Url: <http://artchronika.ru/gorod/%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5-11-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/> (дата обращения: 04.03.2003).
- [2] *Юбэнкс И.С.* Кино и эстетика террора // *Террор и культура* : сб. статей / [под ред. Т.С. Юрьевой]. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. – С. 41-44.
Полный текст сборника предоставлен правообладателем по адресу: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26146844 (дата обращения : 27. 02. 2023). Здесь и далее страницы в ссылках на книгу указаны по данному электронному изданию.
- [3] *Тульчинский Г. Л.* Хоррор как компонент современной культуры // *Террор и культура...* С. 44-48. См. так же: *Голышко-Вольфсон Д.Ю.* Век живых мертвецов: XX столетие глазами зомби. О философии, этике и биополитике зомби // *Неприкосновенный запас*. – 2008. – № 6(22). – Url: <https://magazines.gorky.media/nz/2008/6/vek-zhivyh-mertveczov-xx-stoletie-glazami-zombi-o-filosofii-etike-i-biopolitike-zombi.html> (дата обращения: 08.03.2023).
- [4] *Юрьева Т.* От составителя // *Террор и культура...* С. 2-3.
- [5] *Коцюбинский Д.А.* Страх и память. Державный террор как основа русской политической культуры // *Террор и культура...* С. 20-25. Примечание Д.А. Коцюбинского: «Имеется в виду феномен, иначе называемый “великоросский народ”, а не тот полиэтничный и полирегиональный конгломерат, который существовал в домонгольскую эпоху на всем пространстве бывшей Киевской Руси и который в литературе также зачастую именуется “русским народом”» [с. 20].
Впервые тема «Террор и культура» была поднята мной в журнале «Москва» на Круглом столе более десяти лет тому назад.
- [6] См.: *Кокшенива К.А.* Концепт «русская культура» и современные практики культурного наследования. – М.: Ин-т Наследия, 2019. – 472 с. – Url: <https://heritage-institute.ru/?books=koksheneva-k-a-konzept-russkaya-kultu> (дата обращения: 08.03.2023).
- [7] См., напр.: *Ломоносов А.В.* О литературном терроре (По материалам черновики и неизданных статей В.В. Розанова). – *Обсерватория культуры*. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 62–71.
- [8] *Розанов В.В.* Литературный террор. – Url: http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_literaturnyy_terror.html (дата обращения: 10.03.2023). Впервые опубликовано: *Новое Время*. 1911, 12 янв.

- [9] *Страхов Н.Н.* Литературная критика / Вступ. статья, сост. Н.Н. Скатова. – М., 1984. – 431 с. В цитате «К концу семидесятых годов, в эпоху турецкой войны...» Страхов имеет в виду войну России с Турцией в 1877–1878 гг.
- [10] *Калягин Н.И.* Чтение о русской поэзии. – СПб., 2021. – 896 с.
- [11] *Страхов Н.* Из истории литературного нигилизма. 1861–1865. – СПб., 1890. – 596 с. – Url: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_00_1890_nigilizm_olderfo.shtml (дата обращения: 01.03.2023). Данная книга критики открывалась статьей «Нечто о петербургской литературе», Она была опубликована во «Времени» в 1861 году, в апрельской книжке в виде «Письма к редактору», т.е. Ф.М. Достоевскому, а ноябре этого же года умирает Н. Добролюбов, возглавлявший отдел критики и библиографии «Современника» с сентября 1857 года, с которым вел полемику Страхов.
- [12] *Шоломова Т.В.* Эстетизация нигилизма в русской литературе XIX века: к вопросу о пространственных и временных границах явления // Общество. Среда. Развитие. – 2015. – № 3. – С. 127–131.
- [13] Политические стихотворения и эпиграммы Вяземского. В том числе и отрывок «Кое-что о себе и о других», а так же «Из Письма к кн. Д.А. Оболенскому». – Url: <http://www.oboguev.net/af/images/viazemskii.html> (дата обращения: 11.04.2023)
- [14] Подробно о «Письмах о нигилизме» я писала в статье «Нигилизм и бунтующее сознание. Об актуальности философско-культурной концепции Н.Н. Страхова». – В кн.: Русская цивилизация, Великая Победа и новые вызовы XXI века : сб. материалов науч. конф. 12 нояб. 2020 г. – М. : Ин-т Наследия, 2022. – С. 90-123. – Url: <https://heritage-institute.ru/?books=russkaya-czivilizacziya-velikaya-pobeda-i-novye-vyzovy-xxi-veka-sbornik-materialov-nauchnoj-konferenczii-proshedshej-12-noyabrya-2020-g-organizovannoj-riii-i-institutom-naslediya-iz-czikla> (дата обращения: 08.03.2023).
- [15] *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй и последний. – Url: <https://www.litmir.club/br/?b=118578&p=7> (дата обращения: 12.04.2023). Там же Розанов уточняет: «...в кабинет его вела дверь из черного дерева с золотой инкрустацией, перед которою стоял слуга-негр, и вообще все "как у графов и князей"».
- [16] *Страхов Н.Н.* Письма о нигилизме. – Url: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1881_pisma_o_nigilizme.shtml (дата обращения: 16.11.2021)
- [17] *Пономарева В.* Женский бунт: бессмысленный и беспощадный // Свой: журнал Н.Михалкова [прилож. к газете «Культура»]. – 2012. – № 53. – С. 33-38. – Url: <https://nobledamosels.wordpress.com/2016/07/31/0005/> (дата обращения: 05.03.2023). Автор статьи приводит следующие цифры: «За десять первых лет XX века были убиты 33 генерал-губернатора, 16 градоначальников, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников, начальник Главного тюремного управления... И это только при Николае II. А ведь "охота на коронованного зверя" и его "прислужников" началась еще при императоре Александре II. Революционеры развязали настоящую войну с правительством», «по подсчетам историков, в период первой русской революции 1905-1907 гг. случайными жертвами терактов стало около пяти тысяч человек».
- [18] *Розанов В.* Между Азефом и «Вехами» // Вехи: pro et contra : Антология. – СПб., 1998. – 853 с.
- [19] *Воронихин А.В.* «Богородица с револьвером» и своей верой (жизненные вершины Веры Фигнер). – Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/bogoroditsa-s-revolverom-i-svoey-veroy-zhiznennye-vershiny-very-figner> (дата обращения: 09.03.2023). О подготовки Фигнер к покушениям автор сообщает следующее: речь идет о покушениях на императора Александра, когда два планируемых покушения (в сентябре-декабре 1879 г. в

Одессе, и в апреле 1880 г. в Одессе, на Итальянской улице) не состоялись; а вот третье, в 1881 г. уже в Петербурге на набережной Екатерининского канала завершилось смертью Александр II.

[20] Новорусский М. Записки шлиссельбуржца 1887–1905 : 2-е изд. – М., 1933. – 413 с.

[21] Не могу не процитировать Н.И. Калягина, дерзнувшего, вопреки устойчивой советской традиции навязывать Некрасова в качестве русского народного поэта, посмотреть на «защитника народного» трезвым взглядом: «А вот Некрасов следует иной традиции — скороспелой (едва ли столетней) и совсем не русской. Среднеевропейские просветительство и сентиментализм, французский «христианский социализм» – три источника, три составные части суконно-гражданственной его поэзии. Кого видит Некрасов в русском крестьянине? Раба, который днём *до смерти работает*, вечером *до полусмерти пьёт*, а ночью *стонет под телегой*. Кого видит Некрасов в русской крестьянке? Опять-таки рабыню, которая *с рабом обвенчалась*, которая *стала матерью сына-раба*... Взгляд Некрасова на русского человека – это взгляд гуманного европейца на дикаря. Конечно, гуманный европеец дикарю сочувствует, но при этом непрестанно творит в душе молитву фарисея из евангельской притчи, непрестанно благодарит Бога за то, что ему повезло, за то, что он сам не таков. Крайний предел, до которого способна дойти гуманность подобного типа, состоит в обращенных к дикарю пожеланиях выйти поскорее из того ужасного положения, в котором он находится. Так и Некрасов желает русскому крестьянину поскорее проснуться, выкарабкаться из-под телеги и, *исполнившись сил*, взяться за топор... И только *в эту пору прекрасную* прекратится недолжное существование русского крестьянина и настанут счастливые дни должного его существования. Освободившийся от социального гнета сельский труженик (будущий колхозник) *Белинского и Гоголя с базара понесет*; и молочные воды Волги величаво потекут в кисельных ее берегах...» [10, 542]

Кокшенёва Капитолина Антоновна

доктор филологических наук, кандидат искусствоведения,
руководитель Центра наследования русской культуры,
Российский научно-исследовательский институт культурного
и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва)
Email: info@heritage-institute.ru

Koksheneva K.

Terror and culture: N.N.Strakhov explains modernity

Abstract. *One of the first to prove the connection of terrorism with the type of cultural consciousness was the Russian philosopher of the classical age, Nikolai Nikolaevich Strakhov. This type of consciousness was profoundly described by him as "nihilistic", manifested in the culture of "negative direction", "shocking denunciation", lackey Westernism. "Strakhov's Lessons" allow us to understand those modern cultural processes that are aimed at aesthetic (at the first stage) and social (at the second) chaos and fear.*

Key words: *terror, culture, nihilism, literary terror, false sanctity, fears, letters about nihilism.*

Koksheneva Kapitolina Antonovna

D. in Philology,

Russian Scientific Research Institute for Cultural and Natural Heritage
named after D.Likhachev (Moscow)

© Кокшенёва К.А., 2023

Статья поступила в редакцию 15.04.2023

Публикуется в авторской редакции.

Url: http://cr-journal.ru/rus/journals/615.html&j_id=56